

ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК

Рассказ

Ощущение как «они»

– И сам заплакал. Губы мокрые, тяжелые, как у дурака. Прозвали Профессором – мужики деревенские, но, наверное, не зря. Искры из глаз освещают горницу.

– Поеду, ма, па!

Нетвердая рука берет с полки портрет в самодельной деревянной рамке. Человек в парике с отвислыми щеками: «Хо-орх Ви-и-хем Фи-и-их Хехель!» – с трудом выговаривается.

– Мысль этого человека меня ведет!..

Мать с подозрением всматривается в портрет: без бороды – значит не святой. На всякий случай перекрестилась.

В Москву собрался, Алеша-то. Еле на ногах держится. Билет в оба конца.

– Назад дороги нет! – напился, чтобы не ехать, колеблется. Понимает, что нечего ему там делать.

И мать голосит: террористы! Их в Москве пруд пруди.

– Не боись, мать. Я эту Москву от и до... – еле языком ворочает.

– Оставайся! – добавляет отец. – После съездишь, бог с ним, с билетом...

Самогонная истома, словно яд в крови. Не выгонишь. Авось выветрится в пути, не в первый раз.

Морозный ветер, форточка хлопает. Лица, перед ним, как пергамент: зачем напился? И с собой взял...

Жмурит глаза, поднимает вверх указательный палец: я сам знаю, как мне поступать! Голос в пустоте вечерней хаты. Самое высокое в нем. Москва ждет. За окнами чернота. Умный – все так говорят. Сухие от работы мозги. Деревня Тужиловка. Тут никто ничего не понимает. Москва не только ждет, она тревожит. Не видит, но спрашивает: зачем?

Километров пять до станции, если напрямик. Заплакал по старикам, которые перед ним. Прощаются, словно навсегда. Скоро умрут. Пустой дом, деревня без них... Логически невозможно. Глядел, напрягши веки. Закрываются... Со стороны на себя, и на них. Разве так смотрят? Ответить нечего, будь ты хоть сто раз Профессором. Щербатые жалостливые улыбки на лицах, как на фото, где сняты первые колхозники, и дед среди них: замызганная кепка, мятая рубаша, подпоясанная ремнем... Где-то лежит эта картонка, на которой лица не только пожелтели, но и почернели, как сама земля. Фото сделано в 30-е годы. Каким ветром занесло фотографа в ту давнюю Тужиловку?

От них осталось главное – труд: невидимый, незаметный во времени, как жалкая улыбка на фото. У Профессора свой труд – не тот, который оставлен навсегда в полях, но и в толстой тетрадке, на дне портфеля, купленного на ВДНХ, где ему когда-то вручали серебряную медаль новатора. Кому она теперь нужна? Снял с гвоздя на ленточке – холодное, круглое в ладони. Не земледелец, но мыслитель.

Не абы чего везет, но философский трактат. Дожди месяц подряд, пахать нельзя, целыми днями писал, даже выпить не манулось... Труд! Не только трактор, земля под плугом, тряска в кабине, провонявшей соляжкой... Приходит момент, и голова светлеет, заскорузлые пальцы сжимают авторучку...

– Я – Профессор! – Берет портфель. Холодная ручка из пластмассы семидесятих. Тогда все было не так. Изнутри человека другое. Уверенность мира. Пластмасса постарела, Профессору сорок пять. Уезжает, дом как чужой. Бревенчатые стены, запах... И сам как чужой! Простите, ежели что не так... Да здравствует экзистенция! Мать отговаривает – оставайся! Пропадешь со своей «хвилосохвией»...

Тужиловцы букву «ф» никогда не выговаривают, отца Хвилей зовут, не говоря уже о соседях: он для них Хвилюха. Алексей Филимоныч! Говорит чисто, умно, как дикторша в телевизоре. Когда-то страна знала молодого ударника, теперь все забыли. Деды и бабки несут самогонку: вспаши, милок, огород!..

Мать горюет: не женится, окаянный! Книжки, от которых сходят с ума, читает! В нашей родне никто книгами не занимался... Старики переглядываются: в кого Алешка такой пошёл?

Прорвёмся...

Туман перед глазами, перебрал. Достает из портфеля (на дне копченое сало, свежий хлеб) пластиковую бутылку, делает добавочные глотки. Мать толкает в бок: хоть сейчас-то не пей! Окочуришься в поле...

– Не упаду! – перед глазами проясняется. Бревенчатый угол, железная кровать, этажерка с книгами... Всё мило-дорого, хочется заплакать: остаюсь!.. Не выговаривается. В расстегнутом пальто, нафталином подванивает – мать три дня проветривала, обирала пушинки: Алеша в Москву едет! На голове новая, сбившаяся на затылок шляпа. Летом купил, с премии по итогам сева. Старики охают: надень шапку! У тебя ведь и кроличья, и лисья, и норковая, в которой в райком ездил...

– Ничего, мать, прорвёмся! – Бутылку в руке увесистая, полтора литра. – Моя работа называется «Экзистенция труда и современная почва». Почва не в том смысле, что на огороде, а в другом, глубоком... В Москве разберутся. Помнишь, как ты меня, молодого, провожала на слет передовиков, и уже на следующий день смотрела репортаж по черно-белому телевизору: сам генсек мне руку пожимал, вручал медаль за трудовую доблесть!..

Вышел на порог весь в слезах, подсевшее в плечах пальто, неловко. На крыльце мать и отец. Им бы внука!..

С выпивкой пора завязывать. В колхозе пальцем стали показывать: Профессор!..

Мать молится: Господи, останови его! Милиция вокзал проверяет, авось задержит. В кутузке переночует, как не однажды бывало, утром заявится с квитанцией... «Пачпорт» в кармане булавкой пристегнут. Пальто хорошее, драп, двести рублей советскими деньгами.

Первый и последний

Обнял стариков на прощанье. Теплота в дробных плечах. Слезы точками на пальто. Туман на ворсинках изморозью.

Холод трезвит. Оборачивается, зовет. Голос дикий. Жизнь глубже, чем она сама себя видит. «Хвилософ»... Это мы еще посмотрим, кто чего стоит! Вот она, жизнь – расстилается полями, холмами, рощами, ночной необъятностью.

Три желтых окошка, полоски света по заиндевелой траве. Две фигурки на пороге.

«Ничего не знаю!» – Голос в полях. Луна, молоточки в висках. Покачивается, бодрый. Вчера шел дождь, сегодня мороз, небо в звездах, луна в замерзших лужах. Из бутылки рано отхлебывать – хорошо! Достал бутылку, отпил для продолжения счастья путешествия.

«Огни печальных деревень...» – кто так сказал? Обернулся: Тужиловка мерцает, свет в тумане. Ноябрь, сгустились идеи. Сало в портфеле теплое, на ходу жует вместе с налипшим клочком газеты, крошки хлеба на пальто.

Озимь светла и черна одновременно. Зёрна в земле разворачиваются, глядят, зеленые смешные человечки. Потрогал нежные, в комочках изморози, стебли. Ум, как озимь, растёт при свете звезд.

Профессор! Здесь хоть как человека обзови. Лозины над замерзшей лужей. По льду, как в детстве, на подошвах ботинок, купленных за сахар. Иех-ха! Вот ещё как моём!

Тетрадку возил под сиденьем трактора, пахнет мазутом, в пятнах, стыдно показывать. А переписывать поздно. Не потому, что к поезду, а потому, что жизнь, как внутренний принцип, кончилась. У портфеля приоткрыта пасть, словно ушедшая эпоха хочет вдогонку что-то сказать хрусткой челюстью.

Дорога разбита тракторами, замерзла. Грязь хрустит, отваливается комками. Курс на станцию! Колеи извилистыми окопами. Край, где люди так и не научились выговаривать слово «капезэс», а язык реклам им вовсе не под силу. Вымираем!.. Не было гражданской – отряд Мамонтова проскочил, расстреляв в каждом селе по активисту. В колхозы вступили поголовно, за исключением тех, кто имел лишнюю корову и попал в список... Немец чуток не дошел – разведка посмотрела: за что тут воевать? – и ушла. Здесь до сих пор отмечают Русальскую, заговаривают болезни, лечат от сглаза. До Москвы четыреста километров. Сто лет назад, когда не было железной дороги, мужики пешком брели в «отход». И сейчас, кто моложе, едут в Москву, на стройки: там зарплату деньгами платят, а не зерном и сахаром.

Она с ним «того...»

Отхлебывает еще. Вот ведь повадка... Земля в лицо, вспышка. Яркий свет, удар. Боль глухая, ночная, алкогольная. И влажность, запах мёрзлой. Отдаленность от Москвы. Там не знают. Почти дошел: станция сверкает. Напился, дурачок! Батюшка с матушкой далеко, некому ругаться... В том и одиночество. Встать, вырваться из поля – да здравствует цивилизация!

Больно, жжет. Холод земли, вьвшейся в кожу, в кровь. Ледяные крупинки, теплое, соленое течет. Лежать всегда. Матушка говорит: вставай! А то Москва не признает в тебе мыслителя. До крови морду разбил. Текут висюльками в землю слюна, кровь, оплодотворяя ее каким-то смыслом. Словно старик, пытающийся зачать дитя.

Грязь в кровь и мясо губы – чернота смысла. Поймут. Мысль ничто, слезы. И боль. Спать нельзя, назад тоже – замерзнешь. Москва. Иди к ней! Стучись в двери, тебя ждут.

Ботинки, как золотые, блестят от морозной луны. Встает, нащупывает паспорт, подколотый булавкой. В паспорте билет, нижняя полка. Проводница будет ворчать: вы штоб, гражданин, больше тут не выпивали, а то патрули ходят!.. Профессор скажет: не бойсь, сестра, я тихий человек! Матрас на полку, жажнет граммов сто пятьдесят – и провалится во тьму, разбиваемую огнями поезда.

Трещина в асфальте

«Здравствуй, Москва!» Так всегда говорил, когда приезжал на съезды и слеты. Карман отдувался от командировочных и гостиница была заказана. Сегодня никто не ждет, слова «комсомолец», «ударник», «новатор» забыты.

Достал зеркальце – ссадина на лбу, губа вздулась, земля в нее точками въелась. Опохмелиться хочется до жути. Слезы от этой невозможности. Шляпу надвинул, ссадину прикрыл. Зато губа, как у неудачливого террориста. Шарканье ног по перрону, в репродукторе звенят объявления. Морозный воздух, миллионы звуков. Здесь Профессора поймут. И примут. Он – страдалец, и Москва тоже страдала. Мать смыслов – Москва!

Метро порадовало – такое же, как в молодости. Вместо пяточков карточки. Улыбнулся, очутившись в грохочущем вагоне. И пассажиры прежние, разные.

Вышел. Озирается. Дышит так, словно желает опохмелиться одним только воздухом. Улица Горького стала Тверской. В ней сохранился прежний свет. И простор, обставленный домами. Профессор любил бродить здесь в перерывах между заседаниями, заходил во все подряд магазины, покупал вещицы, которые почти всегда оказывались ненужными.

Теперь куда зря не войдешь. Поток блестящих машин. Прохожих на тротуаре негусто. Шел, отталкиваясь подошвами от асфальта, похожего на застывшее мозговое вещество. Молоточки в голове, печальные буквы: кончился задумчивый в себе крестьянский гений.

«Слышишь, Москва! Ты всегда опиралась на миллионы Тужиловок – на кого теперь обопрешься? Я немолод, пью, увлекаюсь чтением "ерунды". Руку мне пожимал твой генсек! Сошел с трибуны – в левой ладони коробочка ордена, правая горит от мягкого теплого рукопожатия...

Спустя два дня я уже был в колхозе, сидел за рычагами новенького ДТ, пожалованного лично мне, всесоюзно известному комсомольцу-новатору, который первым применил широкозахватные агрегаты...»

Остановился за киоском, вытер глаза, слезившиеся от ветра: вдруг заплачу здесь, возле стены, не такой уж идеальной для своего столичного смысла, неважно оштукатуренной и плохо побеленной? И в асфальте трещина!.. Даже в детстве не плакал, матушка из-за этого волновалась: кремень-разбойник растет. А вырос нормальный – пашущий и думающий.

Девушка с яблоком

Поднял голову – на него смотрело бронзовое, зеленое, как в лесу, лицо Пушкина, в пространстве плавали рекламы. Шевелилось лицо города – цветное, дышащее морозным туманом.

– Нет у меня, товарищ Пушкин, ума. Да и сам я, как видишь, последний... Вместо того чтобы сидеть дома, приехал с «философской» тетрадкой хрен знает куда – в Москву!

Профессора углядели три девчушки, лет восемнадцать каждой, в одинаковых костюмах из блестящей «космической» ткани. Профессор на них так и уставился – когда-то в сельской школе на Новый год он тоже вырядился космонавтом. Лица девчат раскрасневшиеся, не очень веселые, лукаво-деловитые. На груди и спине яркие иностранные буквы с названием жвачки. Такую сто раз на день показывают по телевизору.

- Дяденька, купите жевательную резинку!
- Зачем она мне?

Девочки замешкались, щеки еще сильнее покраснели. Переглянулись, улыбнулись, ничуть при этом не повеселев. Профессор вздохнул: каждая годилась ему в дочки. Особенно хороша была одна, повыше других. Темные локоны выбивались из-под синтетического капюшона.

- Как тебя зовут?
- Лена.
- Сколько лет?

– Девятнадцать... А вы, дяденька, кто?

Профессор рассказал подробно, кто он и откуда. Привез, дескать, философский труд, но не знает, куда его отдать. Вспомнив, что в портфеле яблоки из своего сада, раздал девочкам. С хрустом откусили от полосатых боков. Яблоки пахли хлебом, салом, из открытого портфеля тянуло сагоном. Это было нехорошо, он защелкнул поржавевший замок. Выпить хотелось до тошноты, сердце тенькало, словно металлическое.

– Кто же, дяденька, вас оцарапал? – спросила подружка Лены.

Профессор усмехнулся, кивнул головой: с кем, мол, не бывает!.. За его спиной Пушкин как-то живо шевельнулся. Дома на полке книжечка стихов, надо бы прочитать – Ницше и Бердяевым сыт не будешь. Хотел сказать, что его оцарапал враждебный человеческой личности мир, но это было бы непонятной правдой, а правду говорить всегда неохота.

Лена согрела яблоко в ладонях. Глаза большие, карие. Лицо белое, красивое. Хотелось поцеловать розовую щеку. Профессор видел женщину с яблоком на картине – возили механизаторов в Третьяковскую галерею... Сказала, что у нее ребенок, с ним мама сидит, она вот здесь работает...

Профессор купил у нее несколько блоков жвачек, надолго хватит. Трактористам нужна – запах перегара отбивает.

– Вам с тетрадкой надо в МГУ сходить, – произнесла задумчиво Лена. Ее сестра поступала туда в позапрошлом году... Других «философских» учреждений она не знала. Объяснила, что надо идти назад: мимо почтамта до Манежной, затем направо, там спросите...

И он пошел. Не утерпел, обернулся. Три блестящие фигурки махали ему правыми розовыми ладонями, левые спрятаны в рукава курточек. Профессор взмахнул длинной мосластой рукой, кисть далеко высунулась из рукава пальто. Сверкнули именные часы «Слава» на потертом кожаном ремешке – в ЦК комсомола когда-то вручили. До сих пор шли без сбоев, отставая за сутки минут на пять. Больше не оборачивался, но внутри потеплело: в Москве есть Лена, ей даже труднее, чем ему, потому что он мужик и в любое время может бросить пить – со вчерашнего вечера не прикасался к баклажке! «Ай да я!» – воскликнулось мучительно-весело. Робко думал о любви, пытаюсь придать мыслям оттенок столичности.

Отглаженные страницы

Разбитая губа внушает подозрение, однако Профессора ни разу не остановил патруль.

«Вот что значит хорошее пальто!» – думал он. Никто не обращал внимания на старый портфель, на дне которого кусочки хлеба, остатки ветчины. Бултыхалась жидкость в пластиковой посуде. С утра ни глотка! Привез труд: выглаженные утюгом страницы, исписанные разноцветными стержнями. Главные мысли выделены красным, второстепенные – зеленым, простой текст – синим. Не догадался шмат сала взять в гостинец – настоящим профессорам тоже есть хочется. Вторая банка самогона пригодилась бы в качестве подарка... Ругал себя всячески.

«Где взять ум? – думал Профессор. – Воистину массовый, народный? В будущем люди научатся возделывать землю с помощью атома, взнуздают в плуг молнию... А я куда?..»

Был когда-то нужен всем, держал на себе, как говорили с трибун, страну. Энтузиазм по жилам тек.

Тогда у Профессора еще не было такого прозвища, хотя мог в любой аудитории произнести речь, не заглядывая в бумажку. Сиял лицом, держал речь с задором! Новый трактор? – пожалуйста! Комбайн? – то же самое. Запчастей навалом. Горючего – как воды в пруду...

Кончилась романтика семидесятых, что-то оборвалось. Стал выпивать: и после работы, с мужиками, и в гостиницах, когда приглашали на семинары по обмену опытом. Профессор возмужал: его вычеркнули из списка кандидатов в члены обкома комсомола, затем и на мероприятия перестали приглашать. А вскоре перестройка грянула.

Спиной к Пушкину

Лет двадцать назад, позанимавшись на курсах политпросвещения, Профессор, неожиданно для себя, увлекся философией, защитил на пятерку реферат. Жизнь его мгновенно переменилась, хотя с виду оставалась прежней. Говорили, что Профессор спился, не выполняет в колхозе норму, сшибает магарычи, возомнил себя «хвилософом».

Тарас Перфилович, председатель, увидев на сиденье трактора «Эстетику» Гегеля, небрежно повертел заляпанные страницы, сказал, глядя Профессору в глаза: ты, парень, лучше выпивай, но *это забудь*. На хрена тебе разная тоска? Не читай ничего, кроме районной газеты, и рассудок твой будет ясным!

В годы перестройки можно стало купить книги Камю, Бердяева, Флоренского и других авторов – целая полка за печкой заставлена. Прочел, восхитился. «Почему я этого раньше не знал, и даже не думал об этом?» Времена и глубины жизни вдруг стали «явственными», как выражаются деревенские старухи. От четкого понимания мира Профессору иногда хотелось прослезиться, однако он с детства страдал отсутствием плача. Разве что на ветру капелька из глаза сорвется.

Когда был маленьким, мать показывала его фельдшеру, потому что пленных австрийцев Николаю Августовичу Келлеру. Выпив гостевую чекушку, фельдшер осмотрел мальчика и сказал:

– Это есть польный порядок! Нормально! Пареньёк думающий!..

Профессор шагал вниз по Тверской, огорченно вздыхал: кто сейчас задаром согласится читать рукопись. Времена не те, чтобы в чужой бред вникать. Москва – город занятой. «Но я привез не только свой труд, но и свое отчаяние... Зачем? Кому оно здесь нужно?»

Новый век загнал мысль в тупик: всё кончилось!.. Жизнь продолжает влачиться в поездах, самолетах, автомобилях, но истории как таковой уже нет. «Иду спиной к Пушкину, удаляюсь от него, от Лены, которая держит яблоко, выросшее в моем саду. Как оно пахнет, мое яблоко? Зачем этот запах, почему я о нем думаю в несоответствующий момент?»

Рука тянется к ржавому замку портфеля: «Глотнуть, что ли, для смелости?.. Нет, нельзя! Соберись, ощути в себе волю и мужество. Ведь ты же был комсомольцем!..».

Купил в киоске мороженое и жадно, как в детстве, сгрыз его, глотая кусками. В желудке появился холодок, сердце отмякло. «Может, совсем пить брошу?» Лезет в голову призрак пластиковой бутылки – хоть в урну выкидывай. На виду у всех нельзя это сделать – могут принять за террориста... Да и грех добро выкидывать. Мужики узнают – засмеют.

«Наговорная» пуговица

Шагать по Москве, покупать мороженое, пить шипучую «Фанту» – разве это не счастье?.. Выковырнул из блока душистую жвачку. Говорят, если всю жизнь жевать резинку, можно избавиться от алкоголизма. Проверил нагрудный карман: паспорт цел. Пальцы нащупали гладкое, чуть скользкое: *наговорная* пуговица, матушка пришила. Пуговицу в незапамятные времена подарил Федосеич, колдун, – живет на свете семьсот первый год, варит *присуху* для девок, разливает по

пластиковым бутылочкам. А пуговица подарена еще в социалистические времена – она всегда возвращает домой...

Профессору хотелось вернуться к Лене и сказать: научи меня, девушка, плакать!.. Удочерил бы хоть сейчас! И сам бы нашел работу в этой сказочной жутковатой Москве, вкалывал бульдозеристом, каменщиком, кем угодно. Нашел бы для Лены работающего парня... Какая тут, к черту, «хвилосохвия», если у самого ни жены, ни детей?..

Последний долг

Подземный переход, площадь. Теперь, кажется, направо... Спросить бы кого!..

Надо было вовремя учиться! Давно и сразу, чтобы не носить забавное прозвище Профессор, а быть им, спешить к студентам с папочкой под мышкой, читать лекции, ставить пятибалльные отметки... В Москве надо быть молодым, шустрым, как этот выбритый мужчина в длинном черном пальто и белом шарфике, без шапки, аккуратно стриженный. Ухоженный во всех смыслах. Выходит из «джипа», спешит по делам.

– Можно вас на минутку? – неожиданно для себя окликнул его Профессор. Захотелось снять с головы шляпу, поклониться в пояс, как мужик барину. Но он этого не сделал, а, наоборот, по-деревенски приосанился. – Спросить я хочу!..

– Пожалуйста... – Незнакомец придержал шаг, повернул голову.

– Здрасьте! – сказал Профессор.

– Здравствуйте, – с некоторым удивлением ответил бизнесмен.

Холодный ветер, на седом асфальте искры инея. Лицо мужчины вмиг покраснело.

– Вы меня не боитесь? – спросил Профессор.

– Почему я должен вас бояться? – с усмешкой взглянул незнакомец.

– Да мало ли нас тут ходят? Вдруг я террорист?

– Не похожи вы на террориста... – Мужчина смотрел на Профессора с тем вниманием, с каким барин Тужилов глядел на своих крепостных, обращавшихся с просьбой. Такие же «себе на уме». Молодой почувствовал в этом провинциале что-то *другое*, как если бы он оказался твоим духом, о котором ты и не подозревал, – призрак твоей души, твой судья.

– Вдруг я киллер и у меня в портфеле бомба?

Молодой человек усмехнулся:

– С таким портфелем мой отец ездил в командировки... – В глазах его что-то мелькнуло.

– Я хожу по Москве, и никто у меня даже паспорт не спрашивает! – выпалил Профессор. – Никакой бдительности.

– На вид вы нормальный человек. – Парень потер покрасневшее ухо.

– Я сам не знаю, кто я такой. А знать про себя хочется, – вздохнул Профессор.

– Приехал в Москву, а зачем – неизвестно...

Начал открывать портфель, замок ржаво тенькнул.

– Мне надо идти... – Мужчина взглянул на сверкнувшие часы.

– Сейчас... – Заколяневшая пасть портфеля с хрустом открылась, и оба с некоторым любопытством заглянули внутрь, где лежала, перекатываясь с боку на бок, прозрачная бутылка из-под минералки, облепленная хлебными крошками, влажными ллочками газеты. Даже ломтик сала прилип, намекая на прочность закуски.

– Вот! – с грустным торжеством промолвил Профессор.

Мужчина понимающе кивнул, снова взглянул на часы:

– Извините, меня ждут!..

– Я понимаю, – сказал Профессор. – Спасибо вам большое!

– За что? – уже на ходу обернулся незнакомец. Модное пальто благородно взблеснуло в тенях.

– За то, что поговорили со мной! – Профессор был слегка растерян.

Молодой бизнесмен, храня на лице остатки улыбки, кивнул, исчезая за стеклянной дверью.

Профессор забыл сказать ему самое главное: «Я должен додумать последнюю мысль последнего крестьянина!»

Брякнул об этом колхозным трактористам, те подняли его на смех: кто же тебя, Профессор, на такие дела уполномочивал? Подумаешь – Ленин выискался! Это тебе не мешок комбикорма пропить.

Человек внимающий. Не как «она»

Навсегда исчезнувший бизнесмен ничего не спросил, ушел в деловую тьму. Не знает, что каждый вечер зажигаются вокруг Москвы миллионы деревенских огоньков. На экзистенциальном уровне Профессор и бизнесмен равны. Общие грехи, смерть, к которой надо заранее готовиться. Крестьянин всегда думает о смерти, даже весной. Интуитивно богатый человек признал в Профессоре кормильца, своего *главного* человека.

Профессору захотелось потрогать на ощупь металл «джипа» – светлый, блестящий, как живой. Но почему-то страшно прикасаться к подобным предметам...

Он собрал остатки достоинства, зажмурил глаза, погружаясь в темноту вечной крестьянской ночи, погладил пальто, драп социалистических времен. Тысячи рук, медленных, заскорузлых, протянулись, успокоили: мы с тобой! Почувствовал, как приподняло над асфальтом похмельной тошнотой.

Открыл глаза – ладонь помнила прохладные пальцы Лены. Прощай, Лена, далекий от философии товарищ!

Искрящиеся поля

Сворачивает, как она говорила, направо. Спрашивает встречных: где университет? Сестра Лены в него так и не поступила...

Люди пожимают плечами: мы приезжие. Но и Профессор не новичок в столичных делах: в Москве никто ничего не знает. Еще десяток метров, и Профессор оказывается в большом дворе, заставленном иномарками. Отдирает от холодных зубов жвачку, прячет в карман: нельзя мусорить на величественной территории!

Бронзовый Ломоносов сидит в кресле, взирает поверх ненаучной суетной жизни. Легко и просторно памятнику в таком прекрасном дворе – не украдут в скупку цветных металлов, свойства которых он изучал!

– Здравствуйте, товарищ Ломоносов! – Как и перед Пушкиным, снял шляпу. Необходимо стоять в немом восторге, но Профессору хочется в туалет, он торопливо шагает к двери, через которую в обе стороны идут студенты, в основном девушки. Много симпатичных, с азиатскими лицами. Несмотря на мороз, все без головных уборов. Но и волосы хороши – темные, блестящие. Такие сравнивают с конской гривой, блеском антрацита.

Одна из них садится в аккуратную, словно шар, иномарку, лихо разворачивается в гуще автомобилей, мчится, притормозив на мгновение у ворот.

Смотрел ей вслед с приоткрытым от изумления ртом.

Вот еще одна, с виду китаянка или японка. Ростом с первоклассницу, как кукла. На ступеньках, с приборчиком в ладони, смотрит на Профессора.

– Ты чего? – Уставился на нее, забыв о мучительных потребностях.

Улыбнулась крошечной восточной улыбкой. Лучше куклы!

– Я корреспондент радио! Хочу задавать вопросы.

Блестящая штука – магнитофон. В миниатюрных пальцах черный, с горошину, микрофон.

– Спрашивай! – Ради такого дела можно терпеть, поправил шляпу. Этих интервью когда-то столько давал, что его во всем мире слышали. И по «Маяку», и по «Юности»!..

– Как вы относитесь к тому, что если будет атомный взрыв, произведенный террором в Москве?

По-русски она говорила чисто, но нечетко. Смысл понятен, хотя и расплывается.

Профессор на секунду задумался.

– Я, милая, ни хрена не боюсь. Москвичи – тоже. Посмотри на лица – ни на одном нет страха. Они ничего не боятся.

– Отчего нет страха?

– В том-то и дело, что он есть. Но невидим до поры до времени.

– Что будете делать, если произойдет большая радиация?

– А что мне тут делать... В Москве у меня ни свата, ни брата – пойду на вокзал, к поезду.

– Кто вы есть по профессия?

– Тракторист. Землю пашу... А вообще, в имманентном смысле, не знаю, кто я такой...

В иссиня-черных глазах сверкнули угольные искры, разгораясь далекими огоньками.

Не отводя взгляда, выключила магнитофон. Понимала, что дяде нужно взглянуть ей в глаза.

Профессор очнулся, хмыкнул, понимая нелепость своего положения, отвел взгляд от ее смуглого и в то же время ясного и светлого лица:

– Никто мне ничего не ответит, даже в этом здании... – Кивнул на массивную, дышащую прохладой стену. – И не только потому, что задам вопросы трансцендентного и телеологического характера. Я и на тужировском уровне съехал с крыши ума...

Она в свою очередь взглянула в водянистые, невзрачно-серые, с алыми прожилками глаза. Незаметно вздохнув, привычно улыбнулась. В улыбке древняя простота народа, ведь и у девушки в джунглях есть своя Туж-ил-ов-ка.

– Спасибо, что взяли у меня интервью! – благодарно кивнул Профессор. – У меня лет сто никто не брал интервью. Даже из района не приезжают. Люблю, когда меня о чем-нибудь спрашивают. Будь ты русская, я бы тебе с три короба наговорил!..

Она тоже кивнула, взгляд ее выбирал кого-то в ручейке прохожих.

«В ее глазах отразились поля и деревни! – размышлял потрясенный Профессор. – Почему в них русская ночь? Невозможность факта!.. Допился ты, товарищ Профессор, до философских несерьезностей».

Содрогнулся от воображения чужбины. Сердце приглохло, не желая думать о высоком.

Земля с ним

– Вы к кому? – спросил охранник – человек профессорских лет, с седеющими усами и пронзительным взглядом.

– Да мне тут надо... – промямлил Профессор, шлепая ладонью по нахолодившемуся портфелю.

– А почему с фингалом ходишь?

– Упал. К земле, выходит, приложился.

– Охранник, прищурившись, внимательно смотрел на него.

– Ей-богу!.. – Профессор постеснялся перекреститься, зябко передернул плечами. Его и впрямь трясло. Похмелье тяжестью ворохнулось в желудке, перед глазами пятна, в туалет по-маленькому невтерпеж.

Придал улыбке еще больше простоты. Не философ, а размазня. Емеля без печки. Всё у него попросту. Любовь, «чистое мышление» остались не востребовавшими.

– Я привез научный труд... – Профессор щелкнул замком портфеля.

– Не надо! – остановил охранник.

Но уже распахнулась духовитая кожаная внутренность.

– А это что такое? – Строгий палец указал на маслянистого оттенка жидкость. Пластиковая бутылка ворохнулась на дне портфеля, как живая.

– Да вот... взял из дома самогонки. Скучно в дороге... Может, вам отлить половину?

– Что вы? – Охранник отрицательно покачал ладонью. – Не надо. Вы только сами тут не пейте!

– Упаси бог, разве можно? – Профессор с изумлением посмотрел вокруг. Вестибюль до тесноты наполнился студентами. – Я понимаю, где нахожусь... Мне еще в туалет надо...

– Тетрадку покажите на кафедре... А туалет на втором этаже.

– Кафедра! – благоговейно повторил Профессор. – У Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, у многих других были свои кафедры...

С потоком студентов, в котором преобладали девушки (некоторые даже красивой Лены!), Профессор начал подниматься по широкой старинной лестнице. Длинноволосое бледное существо оказалось парнем, который подсказал, где находится мужской туалет.

Увидев клубы табачного дыма, валящие из дверей, Профессор обрадовался: наконец-то! Сунулся в ту, откуда дым шел гуще, и наткнулся на ироничные взгляды девушек, куривших возле кафельной стены. Кивком извинился, попятился, зашел в соседнюю комнату, где дыма не было. А народу и вовсе никого. Справил малую нужду, взглянул на себя в зеркало. На губе земляная язвочка, черные кровяные крошки.

Некрасивый, старый. Земля не отстаёт даже здесь, впиалась в сухую похмельную губу.

Другое сердце

Профессор медленно шел по коридору, поражаясь его ширине и высоте. И трактор проедет, и вертолет пролетит! Дух науки.

«Старина! – уважительно думал он. – Даже в обкоме коридоры меньше». Обкома давно нет, а коридоры остались прежними...

Был у него единственный московский друг, известный в то время литератор и журналист, писавший о проблемах сельской молодежи. Познакомились в кулуарах комсомольского съезда. Из Тужиловки Профессор послал ему «Записки сельского жителя» и очень удивился, увидев их напечатанными в молодежном журнале, с портретом (прозвище Профессор тогда еще не успело к нему прилипнуть) и вступительной статьей, где он был назван «русским Якобом Бёме», «продолжателем дела Н. Федорова», «Вернадским из деревни Тужиловка».

Писатель, благожелательно относившийся к Профессору, скорострительно умер несколько лет назад, не дотянув до пятидесяти. Профессор случайно узнал об этом из газеты, в которую что-то завернули трактористы. Портрет человека с бородкой, черная рамка, некролог... С горя запил, бросил пахать зябь, допахивал по первому снегу...

В университете не жарко – разве нагреешь такие залы, своды, колонны? Вроде колхозной мастерской; сколько ни топи, пальцы зябнут, когда гайки крутишь.

Сознание окончательно прояснилось, было стыдно. Вспоминал покойного друга, умнейшего человека. Сохранился номер телефона в записной книжке...

Умер на ходу, застыл в потоке людей с черным лицом на выходе эскалатора.

«И я умру где-нибудь под лозинкой, на обочине поля – или прямо в кабине трактора, – думал Профессор. – Как в стихе про старинного пахаря: "Комком земли отвалится..."»

Достал нахолодившуюся тетрадку, жалкую и одновременно увесистую, сдул с нее крошки, стер сальное пятно, расправил уголки. Тетрадка истрепалась за паузой, в карманах комбинезона, под сиденьем трактора, пахнет соляжкой. Уголки мягкие, как вата, прилипают к кончикам пальцев. «Отпить половину – и на вокзал! Тоже мне "труды", на хрен!»

Обещал охраннику быть трезвым. Здесь университет, а не забегаловка. Стыдно перед детьми. Они здесь учатся! Любая из этих девчушек в тысячу раз грамотнее Профессора. У них – судьба, а он *свою* до сих пор не ощущает. В тетрадке много написал, а в сердце всё по-другому.

О н а ждала !..

Одна за другой. Подчеркнуто скромные, одеты как-то странно. «Чтобы учиться здесь, нужно быть монашкой, – размышляет Профессор. – Калейдоскоп наук в женском уме – непостижимо!»

Деревенские юбки, чулки в нитку, кофты 50-х годов! Не каждая бабка наденет. И вокруг все древнее – стены, своды, лестницы. Чуть рассеянные лица: выучила, сдала, тут же забыла. Диалектика смыслов.

Зачем приехал? Не приглашали, сам явился. Другая Москва. Не узнаёт прежнего своего любимца с прозвищем, которое дают только в деревне. Есть что-то приятно-горькое в осознании того, что тебя здесь никто не ждет и никому ты не нужен.

Еще одна бежит в рассеянности миловидного лица. Ей бы валенки с калошами, «кухвайку» – девушка из юности Профессора.

– Эй! – окликнул неожиданно для себя, как у него обычно получалось.

Девчушка остановилась – запыхавшаяся, покрасневшая. На щеках точки от угрей, но хорошенькая.

– Садись! – Грубая, как лопата, ладонь рядом со шляпой и тетрадкой.

Ошеломленно присела. Веснушки, за спиной коса. Подумал, глядя на нее: «Москва все-таки ждала меня!..»

Молча передал ей тетрадку.

Студентка недоуменно раскрыла ее, не в силах читать разноцветные каракули – зеленые, красные, синие. Послунявив палец, перевернула страницу за разломаченный уголок. Ногти крашенные.

– Что это?

– Моя работа по философии. Подскажи, кому показать?

– Философия... – Наморщила лоб. – Наверное, Николаю Ивановичу, он курс ведет.

Оживилась: хороший преподаватель!.. Встала резко – пойдете! На ходу достала мобильник, кому-то позвонила: где Николай Иванович?

«Ну, закрутились дела!» – с радостным испугом подумал Профессор.

Оказалось, что Николай Иванович на лекции, у него сразу две группы. Студентка, которую звали Света, вела по крутым широким лестницам, коридорам. Нашла аудиторию, вызвала Николая Ивановича.

Вышел человек лет сорока, с бородкой, кивнул Свете, взглянул через очки на гостя.

– Вот... он написал. – Света, покраснев, протянула преподавателю тетрадку.
– Ну и что? – спросил Николай Иванович, принимая тетрадь особенным жестом. Так кузнец берет заготовку, размышляя: то ли в дело пойдет, то ли швырнуть в угол.

– Он хочет, чтобы посмотрели. Здесь трактат...

– Хм... Я, конечно, посмотрю. Но не сегодня и не завтра.

– Да я что... – растерялся Профессор. – Я вроде того как... Мне вообще...

Света взглянула на гостя, затем на Николая Ивановича. Все трое молчали, слушающая гул аудитории за дверью. Преподаватель машинально перелистал страницы. Пора было расходиться.

– А давайте покажем *его* студентам? – пролепетала Света. – Такого момента больше не будет...

Смотрела то на одного, то на другого. Николай Иванович взглянул на Профессора, потерев бородку.

– Пойдемте! – решительно воскликнул он.

Прощальное слово

Вошли в большую комнату, где сидело с полсотни студентов. На Свету смотрели с большим интересом, нежели на Профессора, которого никто, пожалуй, и не заметил, как не замечали истопника во времена Ломоносова. Какой-то длинный мужик в пальто.

– Уважаемые друзья! В качестве отступления от темы предлагаю познакомиться с... – Николай Иванович взглянул на обложку тетради. – С Алексеем Филимоновичем... Он приехал к нам из глубинки, привез работу, которая называется «Экзистенция труда и современная почва».

– Сколько времени для выступления? – спросил Профессор, давая понять, что неоднократно поднимался на трибуны разного уровня. Чувствовал: наступают главные минуты жизни, не сравнимые даже с теми, когда его слушали на съездах.

– До конца лекции двадцать минут.

– Уложусь за десять.

– Ну, пожалуйста.

Профессор снял пальто, положил его на стул, затем взошел на кафедру, погладил ее, как давнюю знакомую.

Света смотрела на него в каком-то оцепенении, словно ей предстояло отвечать за каждое слово этого человека. Веснушки, сияющие желтыми огоньками, делали ее неповторимо родной. Профессор почувствовал во рту сухость, язык одеревенел. Из последних сил подмигнул Свете: не подведу! Трибуны, на которые всходил прежде, всегда добавляли ему внутренней твердости. Возвышенное место нараивает на тон, заставляет говорить коротко, по существу.

– Дорогие дети, послушайте меня! Я – простой механизатор... – Речь стопорилась, философские термины испарились из головы. Да и нужны ли они сейчас? Профессор так и не научился их правильно выговаривать.

– Вы знаете, что цивилизация, не в упрек ей будь сказано, съела русскую деревню. Не специально, а объективно, фактически – однако сама от этого не окрепла и находится в кризисе. Никто из мыслителей не заглянул в нижние народные воды. Из крестьянской среды не вышло философа или писателя, способного понять корни. Я не в счет...

Студенты улыгнулись. Николай Иванович взглянул на Профессора более пристально, перестал терев бородку. Ободряюще кивнул: продолжайте!..

Этот жест чрезвычайно обрадовал Профессора. Москва признала его! Слова текут из темных глубин. Нужно быть новым, сегодняшним. Заговорила почва, которую пашет три десятка лет. Губы шевелятся тяжело, как глиняные.

– Хочу разглядеть в обществе духовное ядро – на что нам держать равнение?.. Зябко передернул плечами, желая показать, как трудно жить без этого таинственного «ядра». Озноб от волнения и похмельного синдрома. Соточку бы для оживления смысла!

Тренькнул мобильник. Смуглая студентка, приложившись к трубке, отвечала вполголоса, «да», «нет», скосив глаза на забавного человека в двубортном пиджаке с потускневшими значками на лацкане. Лоб оцарапан, разбита губа...

«Она могла бы говорить в коридоре, но не уходит! – обрадовался Профессор. – Значит хочет слышать мои слова!»

– Вы, ребята, молодцы: учитесь, стараетесь. На вас вся надежда. Вот Света, журналистка будущая, вот Николай Иваныч – он мне слово предоставил... Москва хорошая, я в нее верю, она никому не даст пропасть. У меня, товарищи, есть глобальный недостаток: я, так сказать, выпиваю. И частенько. Что-то, елки-палки, имманентное во мне сидит, не преодолевается... Философия, дети мои, не может всего объяснить. Народа в прежнем его смысле больше нет. Я – последний его представитель. Я не вымираю, но огонь сердца едва тлеет. Такого, как я, у вас больше не будет...

Почувствовал, что из глаз текут слезы. Настоящие – горячие, соленые. «Я – плачу! – удивился, оборвал речь на полуслове. – Матушка не поверит...»

– Скоро я умру, дорогие товарищи студенты. Это реальный факт. Но и бессмертие – реально. Это гумус, живой слой. Смысл его до сих пор не познан. И тяга к земле тоже необъяснима... Ребята! Я очень рад, что увидел вас. Я в полях, в своём, мой путь никому не пройти. Но ведь и я не успел прошагать тропинкой тургеневского мужика. Времена уходят – неизведанные, непонятые. Подумайте обо мне, когда уйду. Ведь и во мне тоже есть научная крупинка!..

Профессор огорчился, что опять говорит как-то не так. Последнее слово для слушающей Москвы.

– Для меня встать в четыре утра – норма. Ложусь поздно, задав свиньям и телатам корм, чищу у них. Пью. Не смотрите, что я тощий, – силы у меня, как у лошади. Бьюсь с землей, словно грешник, зато она играет со мной, как святая. Иногда она капризничает, ничего не хочет, но чаще в победителях оказываюсь я. Она, товарищи ребята, скажу по секрету, поддается. Она – женщина...

И почему-то взглянул на Свету, вновь покрасневшую. Запаса румянца у нее хватит на десятерых. «Интересно, откуда она родом? – мелькнуло в сознании. – На вид – нашенская».

– Я – земледelec. Если я болен, все больны. Когда пью – всем похмелье. Я увидел вас, дорогие мои люди, и стал совсем другим. Спасибо вам!

Сошел с трибуны, перевел дух. Николай Иванович поблагодарил его, пожал руку и более охотно взял тетрадь, пообещав прислать отзыв.

Света проводила гостя до лестницы, помахала на прощанье ладошкой, похожая в этот момент на Лену. Для мыслителя нет разницы, блондинка, брюнетка, или китаянка – истинно женское, московское в них!

Охранник на выходе взглянул на радостное лицо Профессора.

– Всё нормально?

– Отлично!

– Заходите еще.

– Спасибо. Может, еще приеду...

Неисправимый

Снова куда глаза глядят, до первого метро. И на вокзал. Знакомые неразборчивые слова – московское небо шепчет. Пальто надоело, хочется в привычную телегрейку.

Жизнь летит мимо, растворяясь в сумерках. Москва ушла вперед, в неведомое для нее самой. Убежала не только от Профессора – от всех. Только сейчас, в свой последний приезд в Москву, Профессор понял, что жизнь его прожита зря. Пахал колхозные поля, блудил в темноте, выезжая из тумана на огоньки. Падал вместе с трактором в овраг и лежал несколько дней, придавленный в кабине, глядя по ночам на звезды... Почему далекие огни до сих пор манят к себе? Сядет в поезд, прижмется, как в молодости, щекой к запотевшему стеклу и будет долго смотреть на улетающие микрорайоны, пока поезд не вырвется в степную мглу.

Забыл сказать студентам, что минувшим летом на комбайне занял четвертое место по колхозу – для пьющего человека неплохо. До морозов пахал зябь, председатель в качестве премии дал два мешка сахара. Вспахал за самогонку под зиму огороды всем деревенским старикам. Узнали, что едет в Москву с «умственной» тетрадкой, пришли целой делегацией, плакали: «Кормилец ты наш! Куды тебе несётё во тьму московскую, в тяррор страшнай? Не дай бог, убьют в каком-нибудь тиятре... Разве мало, что мы тебя тута Прахвессаром величаем? Какой табе ишшо славы захотелося? Заходи в любой дом – везде ты жаланнай и нужнай. Первейшай для нас чилавек!»

Зашел под арку, огляделся – никого! Поставил портфель на асфальт, перевел дух.

Портфель высился усеченной пирамидой: потрескавшийся памятник социализму.

Достал бутыль, отвинтил крышку, приложился. Привычные глотки. Долгожданные, терпкие, почти забытые! Прощай, университет, прощайте, прекрасные лица! Выдохнул, зажевал коркой. В голове многообещающие молоточки, по телу отдались иголками. Огляделся: еще!.. Решетка с узором: чугунный тавровый смысл...

«Здесь Москва – моя иррациональная кровь, серый мозг асфальта... Я бессилен, ничтожен, забытые души вопиют в моем сердце. Возвращаюсь к ним навсегда. Не о чем больше говорить и думать»

Уперся горячим лбом в решетку, как в самого себя, дальше идти некуда, кроме как на вокзал.

«Вот она, глубина непроизошедшего», – подумал с грустной зачарованностью.

Самогонка жгла губу – нельзя целовать землю! Пусть!.. В третий раз отпил из посуды – огоньки в голове роями. Тепло от желудка, соскучившись, подтекает к сердцу. «Иди куда шел!» – городской воздух намекает.

Защелкнул портфель, вышел из-под гулкой арки, где каждый шаг разносится как особенный. Огоньки машин, яркие светофоры. На Павелецком ждет поезд – длинный дом с желтыми окнами.